

5. Старые языки, новые модели

Закат эры успешных национально-освободительных движений в обеих Америках довольно точно совпал с началом эпохи национализма в Европе. Если рассмотреть характер этих новых национализмов, изменивших за период с 1820 по 1920 гг. облик Старого Света, то от прежних национализмов их отличают две поразительные особенности. Во-первых, почти во всех них центральное идеологическое и политическое значение имели «национальные печатные языки», в то время как в революционных Америках английский и испанский языки никогда не составляли проблемы. Во-вторых, все они могли работать, опираясь на зримые модели, предоставленные их далекими, а после конвульсий Французской революции и не столь далекими провозвестниками. Таким образом, «нация» стала чем-то таким, к чему можно было издавна сознательно стремиться, а не просто видением, очертания которого постепенно становились отчетливыми. И в самом деле, как мы увидим, «нация» оказалась изобретением, на которое невозможно было заполучить патент. Она стала доступным предметом для пиратства, попадавшим в очень разные, иной раз самые неожиданные руки. Итак, в этой главе мы аналитически сосредоточим наше внимание на печатном языке и пиратстве.

Блаженно игнорируя некоторые очевидные внеевропейские факты, великий Иоганн Готфрид фон Гердер (1744–1803) под конец XVIII в. провозгласил, что «denn jedes Volk ist Volk; es hat seine National Bildung wie seine Sprache»[186][187]. Это надменно узкоевропейское представление о национальности, соединенной с ее собственным языком, оказало широкое влияние на Европу XIX в. и, в более узком смысле, на все последующее теоретизирование о природе национализма. Каковы были истоки этой грезы? Скорее всего, их следует искать в том существенном сжатии европейского мира во времени и пространстве, которое началось уже в XIV в. и было вызвано сначала раскопками гуманистов, а позднее, что довольно парадоксально, всемирной экспансией Европы.

Замечательно говорит об этом Ауэрбах:

“ «Когда занялась заря гуманизма, люди начали понимать, что события, о которых повествуют древние сказания и древняя история, в том числе и история библейская, не только отделены от нас временем, но и совершенно другими жизненными условиями. Гуманизм, осуществляя свою программу обновления античных форм жизни и искусства, прежде всего вырабатывает

исторический подход к прошлому, перспективу, которой не обладала в такой степени ни одна из предшествующих эпох: гуманизм видит античность в глубине истории и, в резком контрасте с ней, мрачные времена отделяющего ее от нас Средневековья... [Благодаря этому стало невозможно] восстановить естественную для античной культуры автаркию жизни или историческую наивность XII и XIII вв.»[188].

Становление того, что можно было бы назвать «сравнительной историей», со временем привело к появлению неслыханного доселе понятия «современности», открыто противопоставляемой «древности», причем совсем не обязательно в пользу последней. Эта проблема проявилась со всей остротой в «споре древних и новых»[189], определившем интеллектуальную жизнь Франции в последнюю четверть XVII в.[190] Приведем еще одну выдержку из Ауэрбаха: «...при Людовике XIV у французов хватало мужества считать свою собственную культуру образцовой, — наряду с культурой античной, — и они навязали это мнение всей Европе»[191].

На протяжении XVI столетия «открытие» Европой великих цивилизаций, известных до той поры лишь по смутным слухам (в Китае, Японии, Юго-Восточной Азии и на Индийском субконтиненте) или даже вовсе неизвестных (ацтекской Мексики и инкской Перу), внушало идею о неисчерпаемом человеческом многообразии. Большинство этих цивилизаций развивались совершенно независимо от известной истории Европы, христианского мира, античности и, по сути дела, человека: их генеалогии лежали в стороне от Рая и не вписывались в него. (Лишь гомогенное, пустое время могло стать их вместилищем.) О влиянии этих «открытий» можно получить представление по своеобразным географиям воображаемых государств той эпохи. «Утопия» Мора, появившаяся в 1516 г., преподносилась как рассказ одного моряка, принимавшего участие в экспедиции Америго Веспуччи в Америки 1497–1498 гг., которого автору якобы довелось встретить в Антверпене. Новизна Новой Атлантиды Фрэнсиса Бэкона (1626), возможно, состояла главным образом в том, что он расположил ее в Тихом океане. Великолепный остров Гуинггнм Свифта (1726) появился вместе с фиктивной картой его местоположения в Южной Атлантике. (Смысл этих расположений, возможно, станет еще более ясным, если учесть, насколько немислимо было бы поместить на какую-либо карту, поддельную или настоящую, платоновскую Республику.) Все эти лукавые утопии, «смоделированные» по образцу реальных открытий, изображаются не как потерянный Рай, а как тогдашние современные общества. Можно утверждать, что таковыми они и должны были быть, поскольку сочинялись как критики тогдашних обществ, а названные открытия положили конец необходимости искать модели в давно минувшей древности[192]. Вслед за утопистами пришли светила Просвещения, Вико, Монтескье, Вольтер и Руссо, которые все больше и больше эксплуатировали «реальную» не-Европу как огневое прикрытие своих подрывных сочинений, направленных против тогдашних европейских социальных и политических институтов. В результате, появилась возможность мыслить Европу как всего лишь одну из множества цивилизаций, причем не обязательно Избранную или лучшую[193].

Кроме того, открытия и завоевания вызвали со временем революцию в европейских представлениях о языке. Из практических соображений — ради навигации, религиозного обращения, коммерции и войн — португальские, голландские и испанские мореходы,

миссионеры, купцы и солдаты с самого начала приступили к сбору словников неевропейских языков, из которых стали складываться простейшие словари. Однако лишь во второй половине XVIII в. реально началось научное сравнительное изучение языков. Результатом английского завоевания Бенгалии стали новаторские исследования санскрита Уильямом Джонсом (1786), которые вели ко все большему осознанию того, что Индская цивилизация гораздо древнее греческой или иудейской. Результатом египетского похода Наполеона стала расшифровка египетских иероглифов Жаном Шампольоном (1835), умножившая эту внеевропейскую древность[194]. Достижения семитологии подорвали представление о том, что древнееврейский язык имел уникальную древность или божественное происхождение. Опять-таки, раскрываемые генеалогии могли быть помещены только в гомогенном, пустом времени. «Язык стал не столько связующей нитью между внешней силой и говорящим человеком, сколько внутренней областью, творимой и реализуемой пользователями языка в их общении между собой»[195]. Из этих открытий родилась филология с ее исследованиями сравнительной грамматики, классификацией языков на семьи и реконструкцией забытых «праязыков» посредством научного рассуждения. Как справедливо замечает Хобсбаум, это была «первая наука, которая считала эволюцию самой своей сердцевиной»[196].

С этого момента старые священные языки — латинский, греческий и древнееврейский — были вынуждены ютиться на общем онтологическом фундаменте с разношерстной плебейской толпой местных наречий, которые с ними соперничали, и это изменение дополнило прежнее падение их статуса на рынке, вызванное печатным капитализмом. Поскольку все языки разделяли теперь общий (внутри-)мирской статус, все они стали, в принципе, одинаково достойными изучения и восхищения. Но для кого? Если рассуждать логически, то — поскольку ни один из них не принадлежал теперь Богу — для их новых владельцев: коренных населений, говорящих на каждом из этих языков и, вдобавок к тому, читающих на нем.

Как весьма кстати показывает Сетон-Уотсон, XIX столетие в Европе и ее ближайших перифериях было золотым веком вернакуляризирующих лексикографов, грамматиков, филологов и литераторов[197]. Энергичная работа этих профессиональных интеллектуалов сыграла главную роль в формировании европейских национализмов XIX в., что находится в абсолютном контрасте с ситуацией в Америках в 1770–1830 гг. Одноязычные словари были огромными компендиумами печатной сокровищницы каждого языка, переносимыми (хотя иной раз не без труда) из магазина в школу, из офиса в дом. Двухязычные словари сделали зримым надвигающееся равенство языков: каковы бы ни были внешние политические реалии, под обложкой чешско-немецкого/немецко-чешского словаря спаренные языки имели общий статус. Одержимые подвижники, посвящавшие многие годы своей жизни их составлению, с необходимостью стягивались в крупные библиотеки Европы, прежде всего университетские, или вскармливались ими. А значительную часть их непосредственной клиентуры с не меньшей неизбежностью составляли студенты университетов и те, кто собиравшись в них поступить. Сказанное Хобсбаумом о том, что «прогресс школ и университетов является мерилем прогресса национализма, равно как именно учебные заведения, особенно университеты, стали наиболее сознательными его защитниками», для Европы XIX в., если уж не для других времен и мест, определенно является верным[198].

Стало быть, можно проследить эту лексикографическую революцию так, как можно бы было проследить нарастающий грохот в горящем арсенале, когда каждый маленький взрыв воспламеняет другие, пока, наконец, финальная вспышка не превращает ночь в день.

К середине XVIII в. колоссальное усердие немецких, французских и английских ученых мужей не только сделало доступным в портативной печатной форме практически весь существующий корпус греческой классики, снабженный необходимыми филологическими и лексикографическими приложениями, но и воссоздавало в десятках книг блистательную — и безусловно языческую — древнюю эллинскую цивилизацию. В последней четверти столетия это «прошлое» становилось все более доступно узкому кругу молодых христианских интеллектуалов, говорящих по-гречески, большинство из которых учились или путешествовали за пределами Оттоманской империи[199]. Воодушевленные филэллинизмом, расцветшим в центрах западноевропейской цивилизации, они предприняли попытку «деварваризировать» современных греков, т. е. превратить их в народ, достойный Перикла и Сократа[200]. Для этого изменения в сознании символичны следующие слова, произнесенные в 1803 г. в Париже одним из этих молодых людей, Адамандиосом Кораисом (ставшим впоследствии страстным лексикографом!), в речи, обращенной к французской аудитории:

“ «Впервые в истории нация обзирает отвратительное зрелище собственного невежества и впадает в трепет, отмеряя глазом расстояние, отделяющее ее от славы ее предков. Однако это мучительное открытие не повергает греков в пучину отчаяния: Мы — потомки греков, — мысленно сказали они себе, — и либо мы должны попытаться вновь стать достойными этого имени, либо мы не вправе его носить»[201].

Аналогичным образом, в конце XVIII в. появились учебники грамматики, словари и истории румынского языка. Их появление сочеталось со стремлением — достигшим успеха сначала в Габсбургских государствах, а позднее в Оттоманской империи — заменить кириллицу латинским алфавитом (резко отграничивающим румынский язык от его славянско-православных соседей)[202]. В 1789–1794 гг. Российская академия наук, созданная по образцу Académie Française, выпустила 6-томный словарь русского языка, вслед за которым в 1802 г. вышел официальный учебник грамматики. Оба издания представляли собой победу разговорного языка над церковнославянским. Хотя еще в XVIII столетии чешский язык был всего лишь языком богемского крестьянства (дворянство и набравшие силу средние классы говорили по-немецки), католический священник Йосеф Добровский (1753–1829) в 1792 г. выпустил в свет свою «Geschichte der böhmischen Sprache und altern Literatur»[203], первую систематическую историю чешского языка и литературы. В 1835–1839 гг. появился новаторский пятитомный чешско-немецкий словарь Йосефа Юнгмана[204].

О рождении венгерского национализма Игнотус пишет, что это событие «следует датировать достаточно недавним временем: 1772 годом, когда был опубликован ряд нечитабельных трудов многогранного венгерского автора Дьёрдя Бешшенъеи, жившего в то время в Вене и служившего в охране Марии Терезии... Magna opera Бешшенъеи имели целью доказать, что венгерский язык подходит для самого высокого литературного жанра»[205].

Дальнейший стимул был дан широкими публикациями сочинений Ференца Казинци (1759–1831), «отца венгерской литературы», а также переносом в 1784 г. из маленького провинциального городка Трнава в Будапешт университета, ставшего после этого Будапештским. Первым политическим проявлением венгерского национализма стала в 80-е годы XVIII в. враждебная реакция латиноязычной мадьярской знати на решение императора Иосифа II заменить латинский язык немецким в качестве основного языка имперской администрации[206].

В период с 1800 по 1850 гг. на Северных Балканах сформировались в результате новаторской работы местных ученых три отдельных литературных языка: словенский, сербохорватский и болгарский. Если в 30-е годы XIX в. было принято считать, что «болгары» относятся к той же нации, что и сербы с хорватами, и болгары фактически участвовали вместе с ними в Иллирийском движении, то к 1878 г. уже было все готово для образования отдельного болгарского национального государства. В XVIII в. украинский (малороссийский) язык встречал презрительно-терпимое отношение как язык деревенщин. Однако в 1798 г. Иван Котляревский написал свою «Энеиду», необычайно популярную сатирическую поэму об украинской жизни. В 1804 г. был основан Харьковский университет, который быстро превратился в центр бурного развития украинской словесности. В 1819 г. увидела свет первая украинская грамматика — всего через 17 лет после официальной русской. А в 30-е годы XIX в. последовали сочинения Тараса Шевченко, о котором Сетон-Уотсон пишет, что «формирование общепринятого украинского литературного языка было обязано ему больше, чем кому бы то ни было. Употребление этого языка стало решающей ступенью в формировании украинского национального сознания»[207]. Вскоре после этого, в 1846 г., в Киеве была основана первая украинская националистическая организация — причем основана историком!

В XVIII в. государственным языком в сегодняшней Финляндии был шведский. После присоединения этой территории в 1809 г. к Российской империи официальным языком в ней стал русский. Однако «проснувшийся» интерес к финскому языку и финскому прошлому, который первоначально выражался в текстах, писавшихся в конце XVIII в. на латинском и шведском языках, стал к 20-м годам XIX в. все более выражаться на родном языке[208]. Лидерами зарождавшегося финского националистического движения были «люди, чья профессия включала главным образом работу с языком: писатели, учителя, пасторы и юристы. Изучение фольклора, новое открытие и собирание народной эпической поэзии сочетались с публикацией учебников грамматики и словарей. Все это привело в конечном итоге к появлению периодических изданий, которые стандартизировали финский литературный [т. е. печатный] язык, от имени которого теперь можно было предъявлять более жесткие политические требования»[209]. В случае Норвегии, долгое время разделявшей общий письменный язык с датчанами при совершенно разном произношении, национализм зародился вместе с новой норвежской грамматикой (1848) и словарем норвежского языка (1850) Ивара Осена — текстами, которые были ответом на потребность в специфически норвежском печатном языке и сами стимулировали эту потребность.

Обращаясь к другим территориям второй половины XIX в., мы находим африканерский национализм, рожденный бургскими пасторами и литераторами, которые в 70-е годы успешно превратили местный голландский говор в литературный язык и назвали его уже не

европейским именем. Марониты и копты, многие из которых были выпестованы Американским колледжем в Бейруте (основанным в 1866 г.) и Иезуитским колледжем Св. Иосифа (основанным в 1875 г.), внесли важнейший вклад в возрождение классического арабского языка и распространение арабского национализма[210]. А истоки турецкого национализма легко различимы в появлении в 70-е годы XIX в. в Стамбуле прессы на живом родном языке[211].

Не следует забывать и о том, что эта эпоха стала свидетельницей вернакуляризации еще одной формы печатной страницы: нотной страницы. Вслед за Добровским пришли Сметана, Дворжак и Яначек; вслед за Осеном — Григ; вслед за Казинци — Бела Барток; и так далее, вплоть до нашего столетия.

В то же время самоочевидно, что все эти лексикографы, филологи, грамматики, фольклористы, публицисты и композиторы осуществляли свою революционную деятельность не в вакууме. В конце концов, они были производителями, работавшими на печатный рынок, и были связаны через этот безмолвный базар с потребительскими публиками. Кто были эти потребители? В самом общем смысле: семьи читающих классов — не только «работающий отец», но также его жена-домохозяйка и дети школьного возраста. Если учесть, что еще в 1840 г. даже в Британии и Франции, самых передовых государствах Европы, неграмотной была почти половина населения (а в отсталой России — почти 98 %), то под «читающими классами» имеются в виду люди, облеченные определенной властью. Говоря конкретно, это были — вдобавок к старым правящим классам (дворянству и земельным аристократиям, придворной и церковной знати) — зарождающиеся средние слои плебейских низовых чиновников, профессионалов, а также торговая и промышленная буржуазия.

Европа середины XIX в. стала свидетельницей быстрого роста государственных расходов и роста государственных бюрократий (гражданских и военных), которые происходили несмотря на отсутствие каких-либо крупных локальных войн. «За период с 1830 по 1850 гг. государственные расходы на душу населения выросли в Испании на 25 %, во Франции — на 40 %, в России — на 44 %, в Бельгии — на 50 %, в Австрии — на 70 %, в США — на 75 % и в Нидерландах — более чем на 90 %»[212]. Бюрократическая экспансия, предполагавшая также и бюрократическую специализацию, открывала возможность продвижения по службе гораздо большему числу людей и с гораздо более пестрым социальным происхождением, нежели раньше. Взять хотя бы ветхую, полную синекур и находившуюся под контролем дворянства австро-венгерскую государственную машину: доля лиц из среднего класса в верхних эшелонах ее гражданской половины выросла с 0 % в 1804 г. до 27 % в 1829 г., 35 % в 1859 г. и 55 % в 1878 г. В армейских должностях проявлялась та же тенденция, хотя там она характеризовалась более медленным темпом и некоторым запозданием: с 1859 по 1918 гг. доля лиц среднего класса в офицерском корпусе выросла с 10 % до 75 %[213].

Если экспансия бюрократических средних классов была процессом относительно равномерным, протекавшим с примерно одинаковой скоростью как в развитых, так и в отсталых государствах Европы, то рост торговых и промышленных буржуазий был, разумеется, крайне неравномерен: где-то он происходил массивно и быстро, где-то — медленно и вяло. Но где бы этот «рост» ни происходил, его следует понимать во

взаимосвязи с родноязыковым печатным капитализмом.

Добуржуазные правящие классы добивались сплоченности, в некотором смысле, вне языка, или, по крайней мере, вне печатного языка. Если правитель Сиам принимал в качестве конкубины малайскую аристократку или король Англии женился на испанской принцессе — говорили ли они вообще когда-нибудь друг с другом всерьез? Солидарности были продуктами родства, отношений зависимости и личных преданностей. «Французские» дворяне могли помогать «английским» королям бороться с «французскими» монархами, и делали это не исходя из общего языка или культуры, а, если отбросить в сторону макиавеллианские расчеты, исходя из общих родственных и дружеских связей. Относительно небольшой размер традиционных аристократий, их фиксированные политические основания и персонализация политических отношений, предполагаемые сексуальной связью или наследованием, означали, что их сплоченности в качестве классов были столь же конкретными, сколь и воображаемыми. Неграмотная аристократия все же могла действовать как аристократия. А буржуазия? В этом случае имел место класс, который, образно говоря, обрел существование как класс лишь в многочисленных репликациях. Владелец завода в Лилле был связан с владельцем завода в Лионе только реверберацией. У них не было необходимости знать о существовании друг друга; они обычно не заключали браков с дочерьми друг друга и не наследовали собственность друг друга. Однако они сумели представить себе существование тысяч и тысяч им подобных через посредство печатного языка. Ведь бесписьменную буржуазию вряд ли возможно даже представить. Таким образом, со всемирно-исторической точки зрения, буржуазии были первыми классами, достигшими солидарностей на воображенной, по сути, основе. Но в Европе XIX столетия, где латынь уже два века как была повержена родноязыковым печатным капитализмом, эти солидарности имели территориальные границы, определяемые границами читаемости соответствующих родных языков. Если сформулировать это иначе, спать можно с кем угодно, но читать можно только слова какого-то народа.

Дворянства, земельные аристократии, профессионалы, чиновники и люди рынка — вот, следовательно, и были потенциальные потребители филологической революции. Но такая клиентура почти нигде не осуществилась полностью, а комбинации действительных потребителей значительно менялись от зоны к зоне. Чтобы увидеть, почему дело обстояло так, необходимо вернуться к базисному различию, проведенному ранее между Европой и Америками. В Америке существовал почти совершенный изоморфизм между протяженностями различных империй и областями распространения их родных языков. В Европе же такие совпадения были редкими, и внутриевропейские династические империи были фундаментально многоязычными. Иначе говоря, власть и печатный капитализм очерчивали территориально разные области.

Общий рост грамотности, торговли, промышленности, коммуникаций и государственных машинерий, наложивший особый отпечаток на XIX столетие, дал новые могущественные импульсы родноязычной лингвистической унификации в каждом династическом государстве. В Австро-Венгрии латынь продержалась в качестве государственного языка до начала 40-х годов XIX в., но после этого почти мгновенно исчезла. Она могла бы быть государственным языком, но в XIX в. она не могла стать языком бизнеса, наук, прессы или литературы, особенно в мире, где эти языки постоянно взаимопроникают.

Тем временем местные государственные языки — в процессе, который, по крайней мере вначале, был в основном незапланированным, — приобретали все большую власть и все более высокий статус. Так, английский язык вытеснил из большей части Ирландии гэльский, французский припер к стенке бретонский, а кастильский оттеснил на обочину каталанский. В таких государствах, как Британия и Франция, где к середине века по сугубо внешним причинам сложилось относительно высокое соответствие языка государства и языка населения[214], общее взаимопроникновение, на которое указывалось выше, не имело драматических политических последствий. (Эти случаи ближе всего к американским.) Во многих других государствах, крайним случаем которых является, вероятно, Австро-Венгрия, эти последствия неизбежно имели взрывной характер. В ее колоссальных, полуразвалившихся, многоязычных, но все более грамотных владениях замена латыни любым местным языком в середине XIX в. сулила необычайные преимущества тем из ее подданных, которые уже пользовались этим печатным языком, и, соответственно, несла угрозу тем, кто им не пользовался. Я особенно подчеркиваю слово любым, ибо, как мы увидим из дальнейшего подробного обсуждения, возвышение немецкого языка в XIX в. двором Габсбургов (немецким, как кое-кто мог бы подумать) не имело вообще ничего общего с немецким национализмом. (При таких обстоятельствах в каждом династическом государстве следовало ожидать подъема сознательного национализма среди коренных читателей официального родного языка в самую последнюю очередь. И эти ожидания подтверждаются историческими документами.)

Учитывая клиентуры наших лексикографов, нет ничего удивительного в том, что мы находим очень разные совокупности потребителей соответственно разным политическим условиям. Например, в Венгрии, где фактически не существовало никакой мадьярской буржуазии, но каждый восьмой претендовал на тот или иной аристократический статус, брустверы печатного венгерского языка оборонялись от немецкой волны сегментами мелкого дворянства и разорившейся земельной аристократией[215]. Почти то же самое можно сказать о польских читателях. Более типичной была, однако, коалиция мелкопоместного дворянства, академиков, профессионалов и бизнесменов, в которой первые часто поставляли «высокопоставленных» лидеров, вторые и третьи — мифы, поэзию, газеты и идеологические формулы, а последние — деньги и рыночные средства. Любезный Кораис дает нам прекрасный литературный портрет ранней клиентуры греческого национализма, в которой преобладали интеллектуалы и предприниматели:

“ «В этих городках, не столь бедных, где были состоятельные жители и кое-какие школы, а, следовательно, какое-то число людей, которые могли по крайней мере читать и понимать древних писателей, революция началась раньше и могла протекать быстрее и спокойнее. В некоторых этих городках школы уже расширяются, в них вводится изучение иностранных языков и даже тех наук, которые преподаются в Европе [sic]. Богатые дают деньги на издание книг, переводимых с итальянского, французского, немецкого и английского языков; они за свой счет посылают страстно желающих учиться молодых людей в Европу; они дают своим детям, не исключая девочек, лучшее образование...»[216]

Читательские коалиции, в зависимости от состава расположенные между венгерским и греческим, развивались аналогичным образом во всей Центральной и Восточной Европе, а также стали складываться в течение столетия на Ближнем Востоке[217]. Участие в воображенных по родному языку сообществах городских и сельских масс, естественно, тоже в значительной степени варьировало. Многие зависело от отношений между этими массами и миссионерами национализма. В качестве одной крайности можно, вероятно, привести пример Ирландии, где католическое духовенство происходило из крестьянства и, находясь в тесной близости к нему, играло жизненно важную посредническую роль. Другая крайность подразумевается в ироничном замечании Хобсбаума: «В 1846 г. крестьяне Галиции выступили против польских революционеров, хотя те фактически провозгласили отмену крепостничества, предпочтя вместо этого массовое убийство дворян и доверие к чиновникам Императора»[218]. Однако практически везде по мере возрастания грамотности становилось проще будить народную поддержку, ибо массы открывали для себя новую славу в печатном превознесении языков, на которых они прежде всегда, не замечая того, говорили.

А стало быть, верна захватывающая формулировка Нейрна: «Новая националистическая интеллигенция среднего класса должна была пригласить массы в историю; и это приглашение должно было быть написано на языке, который они понимали»[219]. Однако трудно будет понять, почему это приглашение показалось столь привлекательным и почему его могли послать столь разные группы (интеллигенция среднего класса Нейрна ни в коем случае не была единственным хозяином торжества), если не обратиться, наконец, к пиратству.

Хобсбаум замечает, что «Французская революция была совершена и возглавлена не сложившейся партией или движением, в современном смысле слова, и не людьми, пытавшимися осуществить какую-то систематическую программу. До появления послереволюционной фигуры Наполеона она вряд ли даже выдвинула из своей среды „вождей“ такого рода, к которым нас приучили революции XX в.»[220]. Но как только она произошла, она сразу же вошла в аккумуляющую память печати. Захватывающая и ошеломляющая последовательность событий, пережитых ее творцами и жертвами, стала «вещью» — и получила свое собственное имя: Французская революция. Подобно огромной бесформенной скале, превращаемой бесчисленными каплями воды в обтекаемую глыбу, этот опыт был оформлен миллионами печатных слов в «понятие», фигурирующее на печатной странице, а с течением времени и в модель. Почему «она» разразилась, на что «она» была нацелена, почему «она» достигла успеха или потерпела поражение, — все это стало предметом нескончаемой полемики между ее друзьями и недругами: но в ее, так сказать, «оности» после уже никто никогда всерьез не сомневался[221].

Почти таким же образом движения за независимость в Америках, как только о них было напечатано, стали «понятиями», «моделями» и настоящими «проектами». В «реальности» хаотически сталкивались боливаровский страх перед негритянскими восстаниями и сан-мартиновский призыв к собственным туземцам стать перуанцами. Но напечатанные слова стерли страх почти сразу, так что если о нем когда-то и вспоминали, то он представлял как не имеющая значения аномалия. Из американской неразберихи родились эти воображенные реальности: национальные государства, республиканские институты, общие гражданства,

суверенитет народа, национальные флаги и гимны и т. д., — вместе с ликвидацией их понятийных противоположностей: династических империй, монархических институтов, абсолютизмов, подданств, наследственных дворянств, крепостничеств, гетто и т. д. (Ничто так не поражает в этом контексте, как полное «вычеркивание» массового рабства из «образцовых» США XIX в., а также общего языка из «образцовых» южных республик.) К тому же, обоснованность и обобщаемость этого проекта неоспоримо подтверждались множественностью независимых государств.

В результате, ко второму десятилетию XIX в., если не раньше, «модель» «независимого национального государства» стала доступна для пиратства[222]. (И первыми группами, совершившими такое пиратство, были те самые маргинализованные коалиции образованных, сложившиеся на базе родного языка, на которых было сосредоточено внимание в этой главе.) Однако в силу своей известности к тому времени эта модель предъявляла определенные «стандарты», слишком заметные отклонения от которых были непозволительны. Даже отсталое и реакционное венгерское и польское мелкопоместное дворянство с трудом, но придерживались ее, чтобы не создать видимость «приглашения к себе» (разве только в буфет) своих угнетенных соотечественников. Если хотите, тут действовала логика сан-мартиновской перуанизации. Если «венгры» заслуживали национального государства, то это означало: все венгры без исключения[223]. Этим подразумевалось такое государство, где конечным средоточием суверенитета должно было стать сообщество говорящих и читающих по-венгерски; далее, в свой черед, должны были последовать ликвидация крепостничества, развитие народного образования, экспансия избирательного права и т. д. Таким образом, «популистский» характер ранних европейских национализмов, даже если их демагогически возглавляли самые отсталые социальные группы, был глубже, чем в Америке: крепостничество должно было уйти, легальное рабство было невообразимо — и не в последнюю очередь потому, что концептуальная модель укоренилась окончательно.

Версия #1

Зверобой создал 12 апреля 2025 23:19:43

Зверобой обновил 12 апреля 2025 23:21:40